

человек столкнулись меж собой и оказалось, что это две силы равной величины»⁵⁶ — так говорил Л. Шестов о Ницше, которого сравнивал с героями Достоевского, но Базаров как никто другой подходит под это определение, он, в отличие от героев Достоевского и самого Ницше, до конца удержался на высоте, не ударился в истерику и бунт, не изобретал для себя аристократическую выгородку и не уповал на установление тирании для защиты своих сверхчеловеческих прав.

Эпитафия «страстному, грешному, бунтующему сердцу», которую в конце романа произносит автор, даже если она может показаться знаком «роковой победы смерти над идеей свободы воли»,⁵⁷ ничуть не ослабляет силы впечатления, производимого демонстрацией свободы воли и личного достоинства, как не заслоняет в сознании читателя «исправившийся», обратившийся к Евангелию Раскольников Раскольникова — теоретика и убийцу.

Если героическое противостояние Базарова надвигающемуся на него року есть истинно трагическое действие, то совершенное героем Достоевского преступление никак не подпадает под категорию исконно трагических, ибо «ни с чем в старой трагедии не сравнимое, не соизмеримое происходит в Раскольникове», ибо здесь есть вина, но нет раскаяния, нет готовности принять «без ропота все тяжести (...) кары», напротив, есть «сомнение в самой сущности, в самом существовании какого бы то ни было нравственного закона».⁵⁸ К тому же «преступление, когда оно изображается в подлинно нравственной трагедии, всегда обнаруживается как предрешенное судьбой»,⁵⁹ в то время как Раскольников сам «измыслил мятеж и надумал беспочвенность»,⁶⁰ без вины виноватым этого экспериментатора со своей и чужими жизнями никак не назовешь, ничего общего с трагическими героями не имеют и его жертвы, хотя, разумеется, его своеволие действительно обернулось трагедией — но не в классическом жанровом варианте, на который ориентировался Вяч. Иванов, давая роману Достоевского определение *роман-трагедия*, а в том нравственном, философском смысле, которым пронизаны многие произведения XIX века. Тургенев очень остро чувствовал этот повседневный, неизбывный трагизм, о чем, в частности, писал Е. Е. Ламберт 14 (26) октября 1859 года: «Мне недавно пришло в голову, что в судьбе почти каждого человека есть что-то трагическое, — только часто это трагическое закрыто от самого человека пошлой поверхностью жизни. Кто останавливается на поверхности (а таких много), тот часто и не подозревает, что он — герой трагедии. Иная барыня жалуется на то, что у ней желудок не варит — и сама не знает, что этими словами она хочет сказать, что вся жизнь ее разбита. Например здесь: кругом меня всё мирные, тихие существования, а как приглядишься — трагическое виднеется в каждом, либо свое, либо наложенное историей, развитием народа. И притом мы все осуждены на смерть... Какого еще хотеть трагического?» (II 3, 354). В этом же смысле Добролюбов говорил о «трагическом столкновении» Лаврецкого с непреодолимыми обстоятельствами, о том, что в самом герое «есть что-то законно-трагическое».⁶¹ Такое «обыденное» трагическое начало тоже есть в Базарове, но в нем есть и другое — классический трагический пафос дерзостного противостояния человека неподвластным ему вечным силам и изначальная,

⁵⁶ Шестов Л. Указ. соч. С. 176.

⁵⁷ Никольский Ю. Указ. соч. С. 53.

⁵⁸ Мережковский Д. С. Указ. соч. С. 203.

⁵⁹ Шеллинг В. Ф. Указ. соч. С. 408.

⁶⁰ Иванов Вяч. Указ. соч. С. 299.

⁶¹ Добролюбов Н. А. Избр. статьи. С. 180.